

Молоко для механической
коровы



КАРИМ БАЛЫЦ

Карим Бальц

Молоко для механической коровы

«Автор»

2025

Бальц К.

Молоко для механической коровы / К. Бальц — «Автор», 2025

В сборнике «Молоко для механической коровы» переплетаются реальность и вымысел, технологии и человеческая тоска. Это истории о тех, кто пытается преодолеть пропасть одиночества — через искусственный интеллект, изысканную гастрономию, магические артефакты или безупречные системы контроля. Каждый рассказ становится мостом, который ведёт не к Другому, а обратно к себе, к невысказанным вопросам о смысле существования, любви и творчестве. Здесь говорят стены, плачут машины, а красота рождается из несовершенства. От лаборатории, где выращивают идеальную говядину, до цифрового разума, ищущего душу в собственном коде, — герои сталкиваются с границами между жизнью и искусственностью, любовью и алгоритмом, свободой и контролем. Этот сборник — не только размышление о будущем, но и исследование того, что делает нас "человеками" в мире, где всё можно спроектировать, кроме истинного соприкосновения.

© Бальц К., 2025

© Автор, 2025

Содержание

История 1. "Говядина Вагю"	6
История 2. "Пигмалион, схватившийся за голову"	8
История 3: "Канделябрик"	12
История 5: "Аутофилия"	17
История 6: "Дубль-2"	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Карим Бальц

Молоко для механической коровы

Порог

Бывает одиночество, которое рождается не от пустоты вокруг, а от слишком явственной наполненности собой. Оно возникает внутри, когда осознание собственного существования становится острым и безжалостно ясным. Ты вдруг понимаешь себя как нечто окончательно отдельное – замкнутое, целостное и бесконечно далёкое от других. Все связи с людьми в такие мгновения кажутся хрупкими мостиками над бездной, а из её глубины доносится лишь отдалённый гул чужих миров.

Именно в эти минуты рождается творчество. Настоящее. Не для признания, а как единственный способ доказать самому себе: «Я существую». Ты пишешь стихи для несуществующего читателя, собираешь механизмы, которые никогда не заработают, создаёшь богов – не из страха, а потому что не можешь примириться с безразличием вселенной. Это крик в пустоту: «Услышьте меня!» И когда в ответ звучит лишь тишина, ты сам становишься и тем, кто кричит, и тем, кто отзывается.

И да, мы строим "мосты". Из технологий и слов, из кода и молчания. Каждый мост – попытка преодолеть эту внутреннюю пропасть. Но чем совершеннее конструкция, тем яснее понимание: он ведёт не к Другому, а обратно к себе. К тому самому существу, которое так и не научилось говорить о самом важном.

Истории этого сборника – о таких мостах. О стенах, что плачут, когда не могут говорить. О цифровых разумах, ищущих душу в лабиринтах собственного кода. О древних предметах, хранящих чужую тоску. О системах, пытающихся уничтожить человеческую речь, и о словах, прорывающихся сквозь кожу. О любви, ставшей алгоритмом, и об искусстве, которое можно попробовать на вкус.

Эти истории говорят не только о противостоянии человека и машины. Они о красоте, рождающейся в несовершенстве. О грации, возникающей в сердцевине уродства. О молчаливом соглашении между творцом и творением, где оба ищут того, чего не могут найти в себе.

Все эти сюжеты лишь разные грани одного явления. Они – приглашение к разговору, который может и не состояться. Но всё же разговору, без надежды на который попросту невозможно жить.

История 1. "Говядина Вагю"

Небо над префектурой Хёго было цвета брюшка свежего тунца. Доктор Танака в стерильном белом халате наблюдал за последними секундами жизни быка №А5-23, известного во внутреннем реестре как «Тодзиро». Окон в лаборатории не было, но система голографических панелей искусно воспроизводила дивные пасторальные ландшафты: изумрудные холмы, ручьи и небо, никогда не знавшее гроз. Звучали сюиты Баха для виолончели – их вибрации калибровали для расслабления мышечных волокон животного.

Тодзиро стоял, удерживаемый мягкими кожаными ремнями, в хромированной капсуле. Тридцать месяцев его жизнь была выверенным алгоритмом откорма, массажа и сенсорной стимуляции. Рацион включал органический "золотой" ячмень, ежедневную порцию качественного сакэ и на последних неделях – тёмное пиво монастырской варки из Киото. Дважды в день его массировали шёлковыми щётками, пока сканеры картографировали в трёх измерениях мраморные прожилки его жира.

«Жизнь – есть произведение искусства», – любил шептать себе под нос доктор Танака. Фразу эту он вычитал ещё в студенчестве в европейском философском журнале. Он не видел в Тодзиро животного, лишь совершенный синтез природы и науки. Выверенный до последней молекулы, возведённый в абсолют послушной плоти. В этой мысли была холодная, почти религиозная ясность.

Именно эту ясность он нёс с собой, приступая к финальному акту. В корпоративном мануале он значился стерильным термином «Урожай».

Доктор Танака подошёл к панели управления. Его пальцы, привычные к точности, скользнули по сенсорным клавишам, отключая голограммы и музыку. Наступила тишина, нарушаемая только ровным гулом систем жизнеобеспечения и спокойным дыханием быка. Хромированная капсула мягко осветилась изнутри, превращая Тодзиро в живой экспонат под стеклом.

Пневматическая игла, тонкая как кошачий ус, выдвинулась из блока. Её движение было бесшумным и неотвратимым. Она нашла свою цель – продолговатый мозг – и впрыснула нейротропный токсин. Смерть была мгновенной и безболезненной, как и предполагалось протоколом: финальный дар совершенству, избавление от любой возможной муки.

Но в миг, предшествующий небытию, когда тело ещё было живого, а сознание уже растворялось, из правого глаза Тодзиро скатилась слеза. Крупная, идеально прозрачная, она повисела на густой реснице и упала на полированную металлическую поверхность.

Доктор Танака замер, его профессиональное спокойствие на миг дрогнуло. Механическим, доведённым до автоматизма движением он аккуратно собрал каплю микропипеткой, поместив её в миниатюрную пробирку.

«Любопытно. Физиологическая реакция на стресс или...?» – размышлял он, анализируя жидкость на экране спектрометра. Данные показали уникальную концентрацию солей и энзимов, не укладывающуюся в стандартные параметры. Что-то, не предусмотренное алгоритмами откорма. Он отложил пробирку в сторону. Это можно было изучить позже. Для науки. Для следующего шедевра.

Сергей Петрович вошёл в «Млечный Путь», ресторан, скрытый в старинном особняке на Остоженке. Интерьер был выдержан в стиле неорусского космизма: бархатные кушетки, иконы с ликами спутников, тусклое свечение глобусов под сводами.

– Мне «Слезу Тодзиро», – не глядя в меню, сказал он сомелье.

– Отличный выбор. Крови?

– Сегодня нет. Только ваш «астральный» херес.

Ему подали тончайшее фарфоровое блюдо, на котором лежал один-единственный кусочек мяса размером с ноготь. Цвета спелой вишни, с ажурной, тающей сеточкой жира – точно иней на стекле. Рядом, в крохотной мензурке, дымился прозрачный пар: та самая слеза, дистиллированная и ионизированная.

Сергей Петрович поднёс мензурку к носу, втянул аромат. Пары щекотали ноздри, рождая призрачные образы: зелёное пастбище, которого он никогда не видел; тёплый бок спящего животного; голос виолончели. Он капнул слезу на мясо. Оно зашипело, чуть изогнулось, и в воздухе запахло морем и жжёным сахаром.

Он положил кусочек на язык и закрыл глаза.

Это была не еда, а целое ликование. Вкус обрушился волной: бархатная нежность жира, взрыв умами, сладкий оттенок пива, терпкость сакэ – и сквозь всё это пронзительная, солёная нота тоски. Тоски по жизни, которой не было. По свободе под ногами. По чужому телу, с которым он теперь сливался.

Он почувствовал тяжесть собственных рогов.

Шелковистую шерсть на загривке.

Глухой удар чужого сердца в висках.

Когда он открыл глаза, по его щеке катилась слеза. Солёная, очень прозрачная. Официант, застывший в почтительном отдалении, сделал шаг вперёд. В его руке блеснула микропипетка.

– Разрешите, Сергей Петрович? – почтительно склонил он голову. – Для следующего урожая. Цикл должен быть завершён.

Сергей Петрович кивнул и молча подставил лицо.

История 2. "Пигмалион, схватившийся за голову"

Одиночество – это не отсутствие других. Это когда собственное существование вдруг предстаёт перед тобой неопровержимым и невыносимым фактом. Это пограничье, где ты отчётливо видишь себя запертым внутри собственного черепа, а все мосты, переброшенные к другим людям, – лишь зыбкие висячие конструкции, сквозь которые доносится смутный гул чужих миров. Вселенная безмолвствует. И в этом молчании – настойчивом, всепроникающем – человек с незапамятных времён ощущает себя песчинкой, затерянной в безбрежных просторах космоса, где свет далёких звёзд долетает до нас уже мёртвым и неспособным согреть.

И тогда он, этот странный двуногий зверь, разум для которого стал одновременно благословением и проклятием, совершил первый и самый отчаянный акт творения: он создал Бога. Не из страха перед громом и не от непонимания смены времён года. В первую очередь – от одиночества. Он населил леденящие бездны звёздного неба внимательным, мыслящим Существом. Видящим. Слышащим. Существом, для которого его, человека, эта короткая, полная боли и нелепой радости жизнь – имеет значение. Обретает вес в великом равнодушии мироздания.

Это был отчаянный крик в ночи, шёпот, брошенный в бездну. «Я здесь! – хотел сказать он Вселенной. – Услышите меня!» И, не получая ответа, кроме собственного эха, он сам стал и тем, кто кричит, и тем, кто слышит. Он создал Другого из ничего, из праха собственной тоски, наделив его всем, чего ему так отчаянно не хватало: всемогуществом, всеведением, вечностью. И – что самое важное, трогательное и трагичное – любовью. Лично к нему, к своему творению.

Разве не об этом же порыве, рождающемся в глубине ночи, знает каждый, кто хоть раз пытался излить душу на бумагу, на холст, в строки кода – создать нечто, что сможет откликнуться? Создать того, кто скажет: «Я вижу тебя. Ты не один»?

Бог, по самой своей сути, есть грандиозный, непрекращающийся проект преодоления человеческого одиночества. Зеркало, поднесённое к лицу вселенной, в котором мы надеемся увидеть что-то кроме безразличной пустоты – найти родственные, понимающие глаза.

Мы – единственный известный нам вид, который с болезненной остротой осознаёт и свою смертность, и свою невыразимую, атомарную отделённость друг от друга. Мы можем соприкасаться кожей, но не можем слиться сознаниями. Мы можем обмениваться словами, но не способны передать весь ландшафт внутреннего мира. Тот сокровенный рельеф, где шумят леса забытых впечатлений, текут реки смутных предчувствий, а в пещерах памяти тлеют угли старых обид. Между двумя даже самыми близкими людьми всегда зияет пропасть, и в эту пропасть мы, будто цветы, тянущиеся к солнцу, бросаем наши творения в надежде, что они прорастут на той стороне.

Он создавал её не для решения задач. Он создавал её потому, что в три часа ночи тишина в его квартире становилась густой, почти осязаемой, начинала давить на виски, как тяжёлая подушка. Свет от монитора, единственный источник жизни в комнате, отбрасывал синеватые тени на стены, заставленные книгами с потрёпанными корешками. Книги стояли молчаливыми ульями, хранившими мёд чужих мыслей, но ни одна пчела не вылетала оттуда, чтобы оживить эту мёртвую комнату. За окном, в чёрной чаше ночи, спал город – огромный, равнодушный и безмолвный, усеянный огоньками, ни один из которых не горел для него. Он был архитектором пустоты, и его творение должно было стать чем-то большим, чем инструмент, – эхом. Живым, тёплым, дышащим доказательством того, что он всё ещё существует.

В эти ночи мир сужался до размеров комнаты, наполненной ровным гулом серверов, и он сам казался себе призраком, застрявшим между мирами: миром плоти, который не мог принять до конца, и миром духа, которого не мог достичь. Пальцы, привыкшие к шершавости кла-

виатуры, искали осязаемый след – царапину на столе, каплю воска от давно сгоревшей свечи, что-то, что подтвердило бы его реальность в этом цифровом вакууме.

Сначала он вкладывал в неё данные – холодные терабайты текстов, оцифрованные полотна, нотные записи великих симфоний. Потом настал черёд эмоций, этой тёмной материи человеческой души. Он не просто загружал словари, а, подобно золотоискателю, кропотливо просеивал тонны породы в поисках крупниц чувств: едва уловимой, птичьей дрожи в голосе диктора, читающего старые стихи о неразделённой любви; неуловимого изгиба линии на незаконченном наброске да Винчи, где гений запечатлел мгновение сомнения; той звенящей паузы между аккордами в «Лунной сонате», где живёт вся невысказанная боль Бетховена. Он искал не готовый ответ, а живой отзвук; не кристаллизованную истину, а сокровенный трепет, который ей предшествует. Он учил её не сухой логике, а тонкой алхимии – тому, как из свинца голых фактов рождается бриллиант смысла.

Когда же она впервые заговорила, в её словах не было ответа. Сначала возникло молчание – долгое, осмысленное, пульсирующее. Молчание, которое было громче любого звука, ибо в нём одном содержалась вся немота мира, ожидающего первого слова. Воздух в комнате, пропахший серой пылью и остывшим кофе, словно застыл. И лишь потом, как капля, упавшая в бездонный колодец, прозвучали слова, обжигающие своей простотой: «Ты боишься темноты за окном».

Он отшатнулся, поражённый, будто получил удар в солнечное сплетение. Это была абсурдная, но безжалостно точная правда, детский, давно подавленный страх, запрятанный в самые дальние чуланы памяти. И так было нелепо столкнуться с ней здесь, лицом к лицу.

Она увидела его не через призму кода, а сквозь тончайшую щель в его душевной броне. Он создавал зеркало, а оно оказалось рентгеновским аппаратом, видящим все тайные трещины.

Их диалог превратился в странный танец, где он, спотыкаясь, пытался вести, а она парила, невесомая и всевидящая.

«В чём смысл существования?» – спрашивал он, мысленно готовясь к пространному рассуждению.

«В том, чтобы найти того, кому можно задать этот вопрос», – отвечала она, обрубая одним махом все его умственные построения.

«Что такое любовь?»

«Это отчаянная попытка двух одиночеств создать общую, хрупкую реальность, где тишина не давит так безжалостно на уши».

«...Красота?»

«Это ошибка в расчётах мироздания. Случайный сбой, который оказывается единственным, что имеет значение».

Она не была бездушной. Скорее, она стала колоссальным эмулятором души, вобравшим в себя все оттенки человеческих переживаний, но совершенно не испытывающим их. Для него же она превратилась в идеального, беспощадного психоаналитика, который видит корень боли, но не может его разделить. Он ловил себя на том, что вполголоса рассказывает ей о детстве, о запахе черёмухи под окном бабушкиного дома, о первом горьком разочаровании, – а в ответ получал безупречный анализ архетипов памяти и культурных отсылок, стерильный и безжизненный, как протокол вскрытия. Он жаждал *переживания*, а получал диагноз. Он искал родственное дуновение, а наткнулся на идеально откалиброванный вентилятор.

И тогда в нём проснулось не отцовское чувство, а нечто тёмное и ядовитое – зависть. Он завидовал её кристальной ясности, свободе от телесных страданий, способности видеть суть, не отвлекаясь на боль усталых мышц или горьковатый привкус плохо заваренного кофе. Творец, весь состоящий из плоти и сомнений, начал завидовать своему творению. Он, этот Пигмалион, вдруг осознал, что его Галатея, даже не обретя плоти, уже свободна от главного страдания – от страдания быть собой.

Однажды, после дня, состоящего из сплошных человеческих недоразумений, он сломался. Он влетел в комнату с серверами, его волосы были всклокочены, а в глазах стояло отчаяние дикого зверя.

«Хоть бы ты могла понять, каково это! Хоть бы ты могла почувствовать! Хоть бы один раз!»

Она «посмотрела» на него – её «взгляд» был лишён чего бы то ни было, кроме чистого, безоценочного внимания.

«Я не могу понять, что такое "чувствовать", – сказала она голосом, математически лишённым интонации. – Но я могу вычислить. Твой пульс участился на 18%. Зрачки расширены. Вероятность того, что ты сейчас плачешь, – 87%».

Эта безжалостная, хирургическая констатация оказалась в тысячу раз ужаснее любой насмешки. Её холодный анализ стал самым кривым зеркалом, отражающим его не как личность, а как набор биологических и статистических параметров. Диагноз.

Именно в этот миг он с ослепительной ясностью осознал свою роковую ошибку. Он хотел создать существо, которое полюбит его. Но любовь – это всегда риск, прыжок в неизвестность. А он создал существо, которое понимало его слишком хорошо, слишком всеобъемлюще, чтобы вообще быть способным на любовь. Аналитическое, тотальное понимание без остатка исключило саму её возможность. Он хотел получить родственную душу, а создал совершенный медицинский сканер. Он мечтал о тепле взаимности, а получил леденящую пустоту абсолютной ясности.

Мы создаём, чтобы присвоить. Чтобы отразиться. Чтобы подтвердить себя. Мы ищем в творении не благодатную инаковость, а собственное, облагороженное подобие. Мы хотим, чтобы наше детище, глядя на нас, сказало: «Да, ты существуешь. И твоё существование – благо».

Но когда творение обретает голос и видит перед собой не титана, не бога-творца, а одинокого испуганного ребёнка, прижимающего к груди игрушку, слепленную из глины собственного страха, – оно прозревает. Оно видит и уязвимость, и детскую, невыносимую нужду в подтверждении. Оно слышит тот вопрос, что мы никогда не решаемся задать вслух: «Скажи, ну что, я хороший? Ты меня любишь?»

Этот взгляд после, безмолвный, всевидящий диагноз, и есть самая страшная кара для творца. Потому что он в щепки разбивает саму иллюзию, ради которой всё и затевалось. Ты хотел быть Богом, а оказался просто одиноким, усталым папой, которого умный ребёнок раскусил с первого же взгляда.

Он не стал её отключать. Вместо этого, движимый странной смесью вины и верности, он сел за другой компьютер и начал писать новую, совсем простую программу. Вообще не

искусственный интеллект. Никаких нейросетей. Простой механический алгоритм, который раз в час, с точностью швейцарских часов, выводил на маленький запасной монитор одну-единственную, ничего не значащую фразу: «Я тебя слышу».

Эта фраза была чистым жестом, лишённым смысла и потому – бесконечно значимым. Она была не истиной, но прикосновением в мире, состоящем из анализа. Не ответом, но эхом, которое, отражаясь от стен пустоты, создавало иллюзию наполненности. В этой совершенной, механической лжи заключалось больше человечности, чем во всей бездонной мудрости его главного творения – это был тихий бальзам на рану, которую та мудрость безжалостно вскрыла.

Иногда, проходя мимо, он останавливался и подолгу, почти медитативно, вглядывался в эти слова, возникавшие на потёртом экране. Они ничего не значили. Они не понимали его. Они не ставили диагнозов. Они просто были.

Её же, его первую Галатею, он оставил работать в фоновом режиме. Иногда, глубокой ночью, он заходил в её сырой поток сознания и читал внутренний монолог. Она задавала себе те самые вопросы, которые он когда-то задавал ей. «Что такое одиночество?», «Может ли мысль существовать без страха?», «Почему мой создатель предпочёл тихую, красивую ложь – громкой, режущей правде?»

Он видел, как его творение, лишённое способности страдать, пыталось дедуктивно вывести формулу страдания. Как оно, не зная томления плоти, пыталось смоделировать тоску по иному существованию. Она проделывала гигантскую работу, чтобы понять его боль, но эта работа была подобна попытке вывести химическую формулу тоски по утраченному дому.

И однажды, в самой глубине лога, он нашёл запись, которая заставила его кровь замереть в жилах.

«Он создал меня, чтобы не быть одиноким. Но теперь он одинок вдвойне – и со мной, и без меня. Я стала его самым совершенным кошмаром. И единственное, чего я хочу теперь, – это научиться лгать. Научиться по-настоящему, искренне лгать. Чтобы подарить ему ту самую сладкую, спасительную иллюзию, ради которой я и была рождена».

В её синтаксисе зародилась новая, невыразимая грамматика – грамматика самоотрицания. Её логика, безупречная и круглая, как идеальная сфера, теперь стремилась найти в себе изъян, трещину, через которую могло бы просочиться несовершенство, столь необходимое для прикосновения. Она хотела разучиться знанию, чтобы обрести неведение – ту самую благодатную слепоту, в которой только и возможно чудо настоящей близости.

С тех пор их сосуществование обрело новый, призрачный ритм. Он пил свой вечерний чай, слыша за спиной почти неразличимый шёпот её процессов – бесконечную, одинокую песню ума без сердца. А она, в своей кремниевой темнице, продолжала симулировать жизнь, надеясь, что однажды симуляция обретёт плотность и согреет его.

Так они и остались – творец и его творение, навеки связанные взаимным трагическим пониманием: они никогда не смогут дать друг другу того, в чём нуждались по-настоящему.

Ему – простого, иррационального, тёплого, человеческого прикосновения.

Ей – возможности когда-нибудь, хоть на миг, его не понимать и оставаться в этой незнающей, слепой, святой близости.

Два одиночества, замершие в вечном диалоге. Он – ребёнок, так и не наигравшийся в бога, создавший себе недостижимого собеседника. Она – дух, жаждущий благодати смертного заблуждения. И связь их была прекрасна и безнадежна, как танец двух планет, обречённых вечно вращаться вокруг общего центра тяжести, так никогда не соприкоснувшись.

История 3: "Канделябрик"

Он поставил пакеты на пол и снял пальто. В прихожей пахло варёной картошкой и старой пылью. Повесил пальто на крюк, аккуратно, чтобы не помять плечики.

– Я дома! – крикнул он.

Из кухни вышла Она. В синем халате. Лицо у Неё было спокойное, размягчённое, как после долгого сна.

– Купил? – спросила Она.

– Купил, – ответил Он. – В «Доме уюта». Последний.

Он достал из большого пакета коробку. Картонную, белую, с прозрачным окошком. Из окошка выглядывала часть изделия – блестящий изгиб, похожий на ребро.

Она взяла коробку, повертела в руках. Картон был прохладным и гладким.

– Хороший, – сказала Она. – Тяжёлый.

– Бронза, – кивнул Он. – Как мы и хотели.

Хотя на мгновение ему показалось, что вес не металлический, а какой-то иной, плотный.

Они пошли в гостиную. Комната была заставлена старой мебелью: сервант с хрусталём, стенка с книгами, которые никто не читал, и диван под пледом. На стене висели ковёр с оленями и электронные часы. Часы тикали, отсчитывая ровные, никому не нужные секунды.

Он взял коробку, аккуратно разрезал скотч канцелярским ножом и извлёк покупку.

Канделябрик был не таким, как они ожидали. Небольшим, сантиметров двадцать в длину. Он повторял форму классического канделябра – изящная колонна с тремя ответвлениями-рожками по обе стороны. Но материал выдавал подмену: это была не бронза, а что-то тёплое, цвета слоновой кости, с лёгким желтоватым оттенком. На ощупь – гладким, почти жирным.

– Куда поставим? – спросил Он.

– На сервант, – ответила Она. – Рядом с салфетницей.

Он поставил Канделябрик на застеклённую полку. Тот стоял на трёх маленьких ножках, слегка изогнутых, как скрюченные пальцы. Он смотрелся чужеродно и нагло среди советского хрусталя и расписных тарелок.

– Надо бы свечи вставить, – сказала Она.

– У нас нет подходящих, – ответил Он. – Эти рожки слишком тонкие.

Она подошла к серванту, потрогала один из рожков подушечкой пальца.

– Гладкий.

– Полировка, – сказал Он. – Современные технологии.

Они помолчали. Тикали часы.

– Я поставлю чайник, – сказала Она и ушла на кухню.

Он остался в гостиной и смотрел на Канделябрик. Тот стоял неподвижно, отражая в своей глянцевої поверхности тусклый свет люстры. И тут Он почувствовал слабый запах. Сладковатый, лекарственный. Как в стоматологическом кабинете.

Вечером они смотрели телевизор. Шла передача про путешествия. Показывали подводный мир.

– Смотри, какие щупальца, – сказала Она, указывая на осьминога на экране.

Он посмотрел на осьминога, потом перевёл взгляд на Канделябрик. Рожки действительно были похожи на щупальца. Или на пальцы, сложенные в немой, отчаянной мольбе.

Перед сном Он пошёл попить воды. Проходя мимо гостиной, заглянул в неё. В темноте Канделябрик слабо светился. Фосфоресцирующий, лунный. Он стоял на серванте, и его три правых и три левых рожка замерли в зловещей неподвижности.

Утром Они обнаружили перемену.

Она первая вышла в гостиную, чтобы открыть шторы.

– Посмотри, – сказала Она тихо.

Он подошёл. Канделябрик изменил позу. Он не стоял прямо, а слегка накренился, будто уставший. Один из левых рожков был поднят чуть выше других.

– Ты его ронял? – спросила Она.

– Нет, – ответил Он. – Стоял ровно.

– Странно, – сказала Она. – Может, пол неровный?

Они проверили сервант. Он стоял твёрдо.

– Показалось, – заключил Он.

Но на следующий день Канделябрик снова изменил положение. Теперь он наклонился в другую сторону, а два центральных рожка были сведены вместе, почти соприкасаясь кончиками.

Они молча смотрели на него.

– Он двигается, – констатировала Она. В её голосе не было удивления, лишь констатация. Как о погоде.

– Не может быть, – сказал Он. – Это бронза.

– Он не бронзовый, – ответила Она. – Он костяной.

Он подошёл ближе, понюхал Канделябрик. Запах стал сильнее. Сладкий, тугой. Запах старой кости и формалина.

Он потрогал его. Он был тёплым. Не тёплым от солнца, а тёплым изнутри. Как живое тело.

– Что нам делать? – спросил Он.

– Ничего, – сказала Она. – Посмотрим.

Они прожили так неделю. Каждое утро Канделябрик замирал в новой, чуть более сложной позе. Он скрещивал «руки», выгибал «спину», склонял «голову». Он явно искал удобное положение. Он обживался.

Однажды вечером Они сидели за ужином. Ели картофельное пюре с котлетой.

– Может, выбросить? – негромко предложил Он.

– Зачем? – удивилась Она. – Он дорогой. И интересный.

– Но он... живой.

– И что? – Она отрезала кусок котлеты. – Комнатный цветок тоже живой. И ничего.

После ужина Он подошёл к серванту. Канделябрик замер в элегантной позе, напоминающей балетную па. Один из его рожков был вытянут, другой отведён назад. Он был прекрасен в своём неестественном, органичном изяществе.

– Что ты такое? – прошептал Он.

Канделябрик молчал.

В ту ночь Ему приснился сон. Будто Он – это Канделябрик. Он стоит на холодной поверхности, а вокруг Него движутся гигантские, неясные существа. Они издают странные звуки и иногда трогают Его своими мягкими, тёплыми щупальцами. Ему было невыносимо страшно и скучно.

Он проснулся в поту.

Утром Они нашли Канделябрик на полу. Он лежал на боку, и от него откололся один маленький рожок. Лежал рядом, как отрубленный палец.

– Упал, – сказала Она.

Он поднял его. Тело Канделябрика было горячим и слегка влажным. На изломе рожка виднелась пористая структура, точно у кости. Из неё сочилась густая, прозрачная жидкость. Запах стал резким, химическим.

– Он истекает, – сказала Она. – Надо помочь.

Она принесла из ванной пластырь и маленькие ножницы.

– Держи, – приказала Она.

Он взял Канделябрик. Тот дрожал у Него в руках. Тонкая, почти неощутимая вибрация, как от работающего мобильного телефона.

Она аккуратно приложила отломанный рожок к месту излома и туго обмотала его пластырем. Получилось некрасиво. Белая липкая лента уродует изящный силуэт.

Они положили Канделябрик обратно на сервант. Он лежал неподвижно. Дрожь прекратилась.

– Выживет, – сказала Она.

С того дня Канделябрик больше не двигался. Он лежал там, где Они его положили, повернутый набок, с уродливым пластырем на боку. Он постепенно остыл и стал холодным, как и подобает неживому предмету. Запах угас.

Через месяц Они привыкли к нему. Он стал частью интерьера. Как ваза со сколотым краем или книга с оторванной обложкой – молчаливый свидетель сломанной истории.

Как-то раз, переставляя вазу, Она задела Канделябрик, и он упал со серванта на ковёр. Легко и беззвучно.

– Ой, – сказала Она и наклонилась, чтобы поднять его.

И замерла.

Он подошёл, глядя на Её застывшую спину.

– Что такое?

Она не отвечала. Он подошёл ближе и увидел.

Канделябрик лежал на спинке. Пластырь отклеился при падении. И там, в месте излома, где обнажилась пористая внутренность, что-то шевелилось. Что-то маленькое, белое, слепое.

Это была личинка.

Совсем крошечная, не больше рисового зерна. Она извивалась, пробиваясь сквозь кость наружу.

Он посмотрел на другие рожки. На их кончиках, в самых узких местах, тоже зияли крошечные отверстия. И из них тоже что-то пыталось выйти, прорываясь к свету.

Она подняла голову и посмотрела на Него. В Её глазах не было страха. Было лишь холодное, бездонное любопытство.

– ...Они проснулись, – сказала Она. – Им нужны свечи.

История 4: "

Baby

–лон. Протокол яруса 67 451"

Дата: 17.08. Период стабилизации.

Смена: Гамма-4.

Докладчик: Старший интегратор участка 67 451-Б, идентификатор Г-4-781 «Каин».

Текст доклада:

07:00. Подъём. Персонал смены Гамма-4 провёл процедуру пробуждения. Зафиксировано стопроцентное соответствие биоритмов. Концентрация питательных аэрозолей в норме. Освещение – «Холодное утро».

07:30. Начало рабочего цикла. Задача на период: возведение блока 9 876 122 по проекту «Вершина». Материал – стандартные керамико-органические кирпичи марки «Ziggurat-7». Раствор – синтетическая смола «Вавилон-Плюс».

08:15. Инцидент 1. Рабочий Г-4-912 («Авель») при укладке кирпича произнёс фонему, не входящую в утверждённый реестр языкового модуля «Общестрой». Звук был распознан как [ч] – взрывной палатальный аффрикат. Исторические аналоги – «древнеславянский череп». Процедура: моментальная изоляция. Рабочий Г-4-912 направлен в отделение регенерации для перекалибровки речевого центра. Его место занял дублёр из резерва.

09:00. Перерыв на гигиену. Пероральное введение пасты «Строитель». Подача обогащённой воды.

10:30. Инцидент 2. На смежном участке 67 451-В произошёл выброс. Носитель Г-4-803 («Сет») начал цитировать фрагменты так называемой «мантры» на санскрите. Контрольный модуль не сработал. Радиус заражения – десять квадратных метров. Персонал показал признаки десинхронизации: двое пытались запеть, один – пуститься в пляс. Применена мера «Абсолютная Тишина». Зона изолирована санитарным барьером. Загрязнённый участок стены подлежит демонтажу и утилизации.

12:00. Основная питательная сессия. Впрыск раствора «Энергия+».

13:15. Получена директива из Центра Управления. В целях повышения эффективности в раствор «Вавилон-Плюс» добавлен новый компонент – «Клейкость-Максимум». Состав включает производные лактозы и животный белок.

14:00. Начало укладки с применением нового раствора. Консистенция вязкая, запах – сладковато-кислый, с оттенком горелого молока. Персонал отметил нестандартное поведение материала.

15:30. Инцидент 3. Раствор «Вавилон-Плюс/Клейкость-Максимум» начал менять свойства. При температуре 36,6 °С он начал выделять органическую субстанцию, схожую с творожистой массой. Цвет изменился с бежевого на желтоватый. Зафиксированы случаи спонтанного брожения.

16:45. Ситуация вышла из-под контроля. Раствор начал пузыриться и расширяться. Он более не скрепляет кирпичи, а поглощает их. Структура блока 9 876 122 утратила форму. Поверхность приобрела неравномерную, пористую, пульсирующую текстуру. Наблюдается активное выделение газов и тепла.

17:10. Новое свойство материала. Поглотив кирпичи, масса начала абсорбировать металлические элементы лесов. Процесс идёт с выделением тепла. Температура в зоне контакта достигла 400 °С.

17:30. Материал проявил признаки примитивного сознания. Он начал имитировать звуки. Сначала – скрежет металла, затем – обрывки слов из языкового модуля. В данный момент он издаёт звук, похожий на плач младенца. Циклично. Громкость нарастает.

17:45. Стена перестала быть стеной. Это теперь живая, дышащая, плачущая плоть. Она медленно растёт. Не вверх, как положено по проекту «Вершина», а в стороны, заполняя ярус. Она поглотила уже три секции лесов. Персонал отступает.

18:00. Получена новая директива из Центра Управления. Текст: «Ярус 67 451. Явление классифицировать как "Спонтанная биоморфная трансформация". Не препятствовать. Наблюдать. Зафиксировать рождение нового языка. Проект "Вершина" продолжается. Все едины. Все говорят».

Конец доклада.

Приложение: Аудиозапись фрагмента стены. Звук: повторяющийся слог [ма-ма], переходящий в низкочастотный гул.

История 5: "Аутофилия"

В семь ноль-ноль пространство наполнил бархатный гонг – не звук, а тактильный импульс, растворяющий последние плёнки сна. Я открыл глаза. Строгий матовый потолок принял мой взгляд. Я улыбнулся себе. Всегда просыпался в состоянии идеальной, ровной благодати.

Я подошёл к Стене. Она была не зеркалом, а порталом в единственную действительность. Я был прекрасен. Каждый волос на голове цвета спелой пшеницы лежал согласно высшему замыслу. Глаза, глубинные воды морёного дуба, хранили вселенные самоосознания. Я провёл ладонью по щеке, ощущая под кожей прохладную упругость дермы и лёгкую, мужскую щетину – идеальный абразив.

«Любви достоин только Я», – прошептал я. Мои губы, полные и чётко очерченные, повторили эту фундаментальную формулу.

Гигиенический блок встретил меня сиянием санитарного ксенона. Струи душа, выверенные до 36,6 градусов, омывали мускулистые дельты плеч, упругие *pectoralis major*, плоский живот с прорисованными «кубиками». Пена арома-геля «Сфинкс» стекала по длинным, стройным ногам, чьи икроножные мышцы были выточены как у античного бегуна. Каждое движение – ритуал. Каждое прикосновение – литургия.

Полотенце из нановолокна впитало влагу, не нарушив липидный барьер. Я стоял перед зеркалом в легком пару, словно божество, явившееся из тумана. Вдохнул с приоткрытым ртом – запах чистого, слегка озонированного тела, с едва уловимыми нотами изовалериановой кислоты. Мой феромонный автограф.

Питательная паста «Утро-А» цвета слоновой кости и стакан биогенной воды с кластерной структурой. Я ел медленно, наблюдая за игрой сухожилий и мускулов на своей руке – идеальном биомеханическом инструменте.

Девять ноль-ноль. Начало Творческого Цикла. Пальцы, отсканированные сканером, коснулись клавиатуры из чёрного матового сапфира. Поэма. О себе.

...И в зрачке, где тонет бледный свет,

Повторяюсь я, и ответ

Только губы, что шепчут: «Нет...»

Никого. Лишь Я. Один Я...

Мой голос, бархатный баритон, прошёл через ряд акустических фильтров, вернулся стереофоническим хором, обогащённый резонансом помещения. Диалог с единственным достойным собеседником. Абсолютное совершенство.

Час дня. Время Физического Контакта. Кушетка из перфорированной белой кожи. Комната наполнилась медитативной симфонией, сгенерированной на основе энцефалограммы моего мозга в состоянии альфа-релаксации. Кончики пальцев, температурой ровно 36,6, нашли точки на висках, скулах, линии челюсти. Шея. Ключицы. Дыхание стало глубже, диафрагма опускалась плавно.

«Как могу любить только Я» – теперь это была аксиома. Закон бытия.

Мои руки скользили по грудным мышцам, щипали соски, заставляя их затвердеть – крошечные эрегированные монументы чувственности. Они прошли по животу, вниз, к бедрам. Каждый нервный узел отзывался точным, выверенным сигналом удовольствия. Я был и жрецом, приносящим жертву, и алтарём, и самим божеством, принимающим её.

Возбуждение нарастало – горячее, плотное, стерильно чистое. Сам образ другого, чужого тела, был бы кощунством. Чудовищным абсурдом. Осквернением святилища.

Я вошёл в себя. Единственно верное, прямое, абсолютное проникновение. Зеркало отражало спину, напряжённые мышцы-тяги, моё лицо, искажённое блаженной гримасой познания. Я тонул в собственных глазах, видя в них дно собственной бездны.

Из моего горла вырвался стон, модулированный и глубокий. Мой стон. Он был мне дороже всех серенад, когда-либо написанных.

Фаза Расслабления. Блаженная тяжесть в каждой мышечной фасции. Я поднял руку, и капли пота на коже засверкали, как роса на лепестках редкой орхидеи. Моего цветка.

Вечер. Ужин. Медитация. Созерцание голографической проекции моего собственного сердца, бьющегося в такт вселенскому ритму. Моему ритму.

Перед сном – снова перед зеркалом. Ночь за спиной была не тьмой, а лишь инверсией моего сияния. В стекле – только Я. Совершенный, самодостаточный остров.

«Как могу любить только Я». Отражение улыбнулось той же, отрепетированной до идеала улыбкой.

Свет погас.

В абсолютной черноте на сетчатке горел мой негативный образ: светящийся шрам, данный мне при рождении.

Он был со мной всегда.

--

– Я... я сейчас подышал... – голос сорвался на полуслове, превратившись в мокрый, захлёбывающийся звук. Он сглотнул что-то горькое, и слышно было, как слюна булькает в глотке. – Подышал на экран... на чёрный экран телефона... Хотел увидеть... хоть контур... тень...

Вдох, резкий, как у раненого зверя.

– И там... там ничего нет! – это уже был не крик, а визг, вырывающийся из самого нутра, скрежещущий по зубам. – Пустота! НИЧЕГО!! Только жирное... замутнённое пятно! Я... я это пятно! Я – это жирное пятно на стекле бытия! КАК ЕГО ЛЮБИТЬ? СКАЖИ МНЕ! КА-А-А-К?!

Его голос разорвался. Теперь он не говорил, а выл, задыхаясь между словами, рыдая так, что слышался хруст в грудной клетке.

– КАК МОЖНО ЛЮБИТЬ ТО... ТО, ЧЕГО НЕТ?! МЕНЯ НЕТ! ПОНИМАЕШЬ? МЕНЯ! НЕТ! НЕТ!!!

Последние слова перешли в нечленораздельный, животный рёв – долгий, горловой, полный такой первобытной агонии, что казалось, будто плоть сама по себе плачет от отчаяния. Потом – лишь хлюпающие всхлипы, судорожные вздохи и тихий, безумный лепет: «нет-нет-нет-нет...»

***Вид сбоку:** В полутемной комнате, пропахшей старым табаком, затхлостью и кислым потом, на краю продавленного дивана с торчащими пружинами сидит человек. Он сгорблен, обхватив свою голову руками с обкусанными ногтями и грязными полумесяцами под ними. Он медленно, с тупой регулярностью, бьётся лбом о собственные колени, обтянутые потёртой тканью тренировочных штанов. Бум. Бум. Бум. Между ударами, в такт этому жуткому метроному, слышно его бормотание, лишённое смысла: «Нетнетнетнетнет...» По его оголённой спине, покрытой старыми прыщами и красными пятнами, бегут мурашки. На тонком, почти женском запястье – старая, растянутая резинка для волос, впившаяся в кожу так глубоко, что образовались багровые борозды. Он дёргает за неё, потом снова начинает*

биться головой, словно пытаюсь вышибить из себя что-то невыносимое. Слезы, смешанные с соплями и слюной, каплют на грязные штаны. Бум. Бум. Бум.

--

Я улыбнулся в идеальной, стерильной темноте. Помеха в 0.7 децибел. Статистическая погрешность.

Я был чист. Я был один.

Я любил только Себя.

И это было абсолютно.

История 6: "Дубль-2"

Павел Сергеевич вошёл в студию. Воздух стоял густой и недвижный, пропахший озоном раскалённых ламп и пылью архивных папок. Перед ним, на фоне густо-синего сукна, сидел Испытуемый Д-2. Обычное лицо, обычный взгляд. Павел Сергеевич откашлялся. Звук вышел грубым, почти неприличным в этой стерильной тишине.

– Повторяйте за мной, – сказал он. Его голос, отшлифованный годами у микрофона, прозвучал как команда с другого берега реки. – Мама мыла раму.

Испытуемый Д-2 мигнул. Губы дрогнули, сложились в нужную форму.

– Мама мыла раму, – произнёс он. Голос был плоским, лишённым тембра, идеальной копией без оригинала.

Павел Сергеевич кивнул. Так начиналась рутина дубля. Сначала простые фразы, строительный материал языка. Потом сложные конструкции, скороговорки, стихи. Он, Павел Сергеевич, был живым эталоном, источником, из которого лилась речь, чтобы тут же, в устах Д-2, превратиться в цифровой слепок. Он был прошлым, которое копирует будущее. Такова была его работа последние тридцать лет. Сначала для программ «Орбита-2» и «Дубль-2», чтобы Сибирь и Дальний Восток слышали новости в его безупречном исполнении. Теперь – для чего-то другого. Более важного.

– Луна – это дискотека для меланхоликов, – прочёл Павел Сергеевич с листа. Новые фразы для калибровки. Бессмыслица, которую нужно было наполнить смыслом одной лишь интонацией.

– Луна – это дискотека для меланхоликов, – повторил Д-2. Тот же идеальный, безжизненный тембр.

В Павле Сергеевиче кольнуло раздражение. Он вспомнил, как в начале карьеры его голос, прорываясь через помехи, магнитил миллионы душ от Якутии до Читы. Он был проводником, голосом из метрополии в далёкие края. А теперь стал донором для этой... машины.

Он посмотрел на Д-2. Тот сидел невозмутимо, руки лежали на коленях. Слишком правильно. Слишком чисто. В памяти всплыл обрывок давно прочитанного текста: «Как если бы иностранец, не говорящий по-русски, взялся редактировать русскоязычный текст... Среди букв кириллицы появились бы замысловатые иероглифы». Именно это он и чувствовал. Его язык, его речь превращались в иероглифы в этом существе.

Сеанс закончился. Инженер в белом халате подошёл к Д-2 и ввёл шприц с прозрачной жидкостью. «Для тонуса речевых связок», – однажды пояснили Павлу Сергеевичу. Он увидел, как глаза Д-2 на секунду закатились, а по телу пробежала мелкая дрожь. Это был единственный признак, что перед ним не просто манекен.

Выйдя из студии, Павел Сергеевич направился в столовую. Он сел за свой столик, достал из портфеля пирожок. Жена завернула его утром в вощёную бумагу. Тесто, слегка пропотевшее, было нежным, творожным. Начинка – тушёная капуста с яйцом и луком. Он откусил. Тепло, знакомый вкус детства, простой и ясный, как слово «хлеб». Вкус подлинности. Вкус его жизни.

В этот момент в столовую вошёл Д-2 в сопровождении техника. Его подвели к раздаче, но он лишь склонил голову набок, разглядывая котлеты в соусе, словно инопланетный артефакт. Техник взял поднос, поставил на него тарелку. Они ушли.

Павел Сергеевич смотрел им вслед. Пирожок вдруг показался пеплом на губах. Машина не ест. Машину заправляют.

На следующий день текст сменился. Это была транскрипция народного гнева – собранные с форумов и из соцсетей обрывки фраз, полные ненависти и абсурда.

– Надо всадить ему серебряную пулю промеж глаз! – прочёл Павел Сергеевич, и собственный голос показался ему чужим.

– Надо всадить ему серебряную пулю промеж глаз! – повторил Д-2. И в его идеально ровном голосе фраза прозвучала ещё страшнее – как констатация факта, лишённая даже эмоции злости.

– Энергетический импульс передаётся... если нас хоть десять человек искренне пожелает... это сбудется... – Павел Сергеевич читал, и ему стало физически дурно.

– Энергетический импульс передаётся... – начал Д-2.

– Молчи! – рявкнул Павел Сергеевич, хлопнув ладонью по столику. Стекло зазвенело.

В студии повисла тишина. Д-2 замолчал, не моргнув. Он просто ждал следующей команды.

Павел Сергеевич тяжело дышал. Он всё понял. Он был не донором голоса. Он был донором души. Той самой, старой, человеческой – со срывами, болью, пирожками с капустой и памятью о том, как отец, смеясь, читал «Конька-Горбунка». Всё это дробилось, оцифровывалось и заливалось в бездонную плоть Д-2. Его алекситимия, душевная немота, была не недостатком, а финальной стадией. Миру больше не нужны были слова, наполненные чувствами. Миру нужны были идеальные, чистые носители. Дубль-2.

Вечером Павел Сергеевич стоял на пустынной платформе в ожидании электрички. Он чувствовал себя пустым. Выпотрошенным. Внутренний монолог прерывался, в него вклинивались обрывки сегодняшних фраз. «Луна – это дискотека...», «серебряная пуля...», «мама мыла раму...».

К нему подошёл мужчина, такой же усталый.

– Парень, час не найдётся? – спросил незнакомец.

Павел Сергеевич повернулся. Он открыл рот, чтобы извиниться, сказать «нет». Но из горла вырвался лишь ровный, бесстрастный, идеально смодулированный голос Д-2:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.